



Радик Яхин

# Вторжение в СССР

# Радик Сайфетдинович Яхин

## Вторжение в СССР

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=73411538](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=73411538)*

*SelfPub; 2026*

### **Аннотация**

Эпический роман о Великой Отечественной войне, показанной через судьбы самых разных людей: солдат и крестьян, инженеров и врачей, партизан и дипломатов.

От обороны Брестской крепости и блокады Ленинграда до Сталинградской битвы, Курской дуги и штурма Берлина – книга охватывает ключевые эпизоды войны. Личные драмы героев (школьника из Бреста, медсестры, шифровальщицы НКВД, лётчицы, крестьянина и других) раскрывают трагедию и подвиг поколения, пережившего войну.

«Вторжение в СССР» – размышление о цене Победы и силе человеческого духа, напоминание о том, что историю творят не только полководцы, но и обычные люди, ставшие героями.

# Радик Яхин

## Вторжение в СССР

Эпический роман о судьбах СССР в эпоху Второй мировой войны

### Глава 1. Перед грозой

#### 1. Сообщение с фронта

Радио в комнате было старым, с облупившейся коричневой краской и выцветшей тканью, прикрывающей динамик. По воскресеньям оно обычно играло что-то бодрое – марши, песни о счастливой жизни, иногда передавали концерты по заявкам. Но в это воскресенье, 22 июня 1941 года, всё пошло не так.

Я сидел на подоконнике и смотрел на тихую брестскую улицу. Отец ушёл в часть ещё затемно – сказал, что учения, вернётся к обеду. Мама гремела посудой на кухне, напевала что-то из последнего кинофильма. Солнце уже поднялось, обещая жаркий день.

В двенадцать часов пятнадцать минут радио захрипело, и музыка оборвалась.

– Внимание, говорит Москва! – голос диктора был непривычно напряжённым. – Работают все радиостанции Советского Союза.

Я спрыгнул с подоконника. Мама вышла из кухни, вытирая руки о фартук. Мы смотрели на чёрную тарелку репродуктора, из которой лился голос, такой далёкий и одновременно такой близкий.

– Граждане и гражданки Советского Союза! – продолжал диктор. – Сегодня в четыре часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну...

Мама схватилась за сердце. Я видел, как побелели её пальцы. Она хотела что-то сказать, но не могла. Голос Молотова, тяжёлый, размеренный, продолжал:

– Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Репродуктор замолчал. На улице тоже стало тихо – ни машин, ни голосов. А потом откуда-то издалека, со стороны крепости, донёсся глухой, тяжёлый звук. Он был похож на гром, но грозы не обещали. Звук повторился, ещё и ещё.

Мама рванула к окну.

– Саша, отойди!

Но я уже видел: там, где должна быть крепость, вставало чёрное облако дыма. Оно росло, набухало, закрывало небо. И звуки – теперь я понимал – это стреляли пушки.

Мы выбежали на улицу. Соседи уже толпились у калиток. Кто-то плакал, кто-то кричал, кто-то молча смотрел на дым. По дороге бежали люди с чемоданами, узлами, детьми. К вокзалу.

– Война! – закричала женщина в конце улицы. – Немцы напали! Война!

Я не понимал, что это значит. Мне было двенадцать лет. Война была где-то в кино, в книгах про гражданскую, в рассказах деда. Она не могла прийти сюда, в наш город, где по воскресеньям ходили в парк и ели мороженое.

Но она пришла.

Взрывы становились громче. Где-то за домами началась стрельба – частая, злая, совсем не похожая на учебную. Мама схватила меня за руку.

– В дом! Быстро!

Мы вбежали обратно. Мама заметалась по комнате – хватала документы, деньги, какие-то вещи, бросала их в сумку. Потом остановилась, глядя на стену, где висела фотография отца в военной форме.

– Саша, – сказала она тихо, – папа там. В крепости.

Я снова посмотрел в окно. Дым над крепостью теперь был огромным, закрывал полнеба. Самолёты – я не понимал, наши или немецкие – с воем проносились над городом.

– На вокзал, – решила мама. – Уедем к бабушке, в Саратов. Саша, бери самое необходимое.

Я схватил книгу, которую читал, и свою коллекцию значков. Мама вырвала у меня коллекцию – «не до этого». Мы выбежали из дома, не заперев дверь. Вслед за толпой побежали к вокзалу.

На перроне было не протолкнуться. Люди лезли в вагоны

через окна, через тамбуры. Паровоз отчаянно свистел, машинист кричал, что поезд отправляется. Мама втиснула меня в тамбур какого-то товарного вагона, полезла сама. Кто-то подхватил её, втащил.

Поезд дёрнулся и медленно пополз на восток.

Я смотрел в щель между досками. Наш город оставался позади. А над ним – дым, много дыма. И где-то там, в этом дыму, остался отец.

Мы ехали трое суток. Иногда поезд останавливался в чистом поле, иногда подолгу стоял на станциях, пропуская военные эшелоны. На восток шли составы с людьми, на запад – с танками, пушками, солдатами. Я смотрел на эти лица – усталые, но решительные. И не понимал, почему они едут туда, откуда мы бежим.

На третьи сутки в наш вагон села женщина. Она была вся в чёрном, с глазами, которые смотрели сквозь тебя. Она ни с кем не разговаривала, только сжимала в руках свёрток – детское одеяльце, в котором никого не было.

– Из Бреста, – сказал кто-то. – Вся семья погибла. Муж в крепости, дети...

Мама прижала меня к себе. Я чувствовал, как она дрожит.

## 2. Семья Лебедевых: раскол в единстве

Казань встретила июньским зноем. В университетском дворе профессор Иван Петрович Лебедев сидел на скамейке и читал свежую газету. Новости из Европы были тревожны-

ми, но Москва твердила: пакт с Германией надёжен, войны не будет.

– Папа!

Лебедев поднял глаза. К нему бежал сын – Николай, комсомолец, студент-второкурсник, в выцветшей гимнастёрке и с красной повязкой на рукаве.

– Ты слышал? – Коля запыхался. – В полдень будет важное сообщение. По радио говорят – что-то серьёзное.

Лебедев сложил газету. Сердце кольнуло нехорошее предчувствие.

– Пойдём домой, – сказал он коротко.

Дома уже собрались все: жена Анна Михайловна хлопотала у стола, младшая дочь Катя рисовала в альбоме. Лебедев включил радио. Ждали.

Сообщение Молотова прозвучало как гром среди ясного неба.

Когда радио замолчало, в комнате повисла тишина. Катя заплакала. Анна Михайловна перекрестилась – впервые на памяти Лебедева.

– Война, – сказал Коля. Глаза его горели. – Я пойду в военкомат. Завтра же.

– Сядь, – Лебедев говорил ровно, но в голосе чувствовалась сталь. – Не горячись.

– Как не горячиться?! – Коля вскочил. – Фашисты напали! Нашу страну! А ты говоришь – не горячись.

– Я говорю – подумай, – Лебедев снял очки, протёр их. –

Война – это не парады и не марши. Это кровь, грязь и смерть. Ты готов к этому?

– Я советский человек, – Коля выпрямился. – Если Родина позвала, я обязан идти.

– Обязан, – Лебедев усмехнулся. – А думать ты не обязан? Анализировать?

– Что анализировать? – Коля повысил голос. – Враг у ворот. Надо защищаться.

– Враг, – Лебедев встал, подошёл к окну. – А кто нам два года назад обещал дружбу и сотрудничество? Кто подписывал пакт? Кто пожимал руку Риббентропу?

– Папа! – Коля побелел. – Ты что говоришь?

– Я говорю правду, – Лебедев повернулся к сыну. – Историческую правду. Мы заключили договор с фашистами. Мы делили Польшу. Мы поставляли им зерно и нефть. А теперь они на нас напали. И ты не задаёшь себе вопрос – почему? Как так вышло?

– Потому что они предатели! – Коля сжал кулаки. – Потому что на империалистов нельзя положиться. Потому что...

– Потому что мы сами создали условия для этого удара, – перебил Лебедев. – Мы усыпили бдительность. Мы верили, что договор – это навсегда. А договор – это бумага. И Гитлер эту бумагу порвал.

– Ты... – Коля отступил на шаг. – Ты что, оправдываешь фашистов?

– Не оправдываю. Я пытаюсь понять. Историк должен по-

нимать причины событий, а не просто кричать «ура» или «бей».

– Историк! – Коля горько рассмеялся. – Сейчас не до истории. Сейчас Родина в опасности. А ты сидишь тут и рассуждаешь.

– Я рассуждаю, потому что умею думать, – голос Лебедева дрогнул. – Потому что если мы не поймём, как мы дошли до этой войны, мы не сможем её закончить. Или проиграем. Или выиграем, но повторим те же ошибки.

– Хватит! – Анна Михайловна встала между ними. – Хватит, оба. Война началась, а вы ссоритесь как мальчишки.

Коля отвернулся к стене. Лебедев сел на стул, уронил голову на руки.

– Я пойду, – сказал Коля тихо. – Завтра в военкомат. Мама, не плачь.

Он вышел, хлопнув дверью.

Ночью Лебедев не спал. Смотрел в потолок, слушал, как за стеной всхлипывает жена. Думал о сыне. О том, что сказал ему сегодня. О том, что Коля прав – сейчас не время для исторических споров. Сейчас время действовать. Но как историк он знал: народ, не помнящий своего прошлого, обречён на повторение ошибок.

Утром пришла повестка. Лебедева вызывали в университет – ректор собирал учёных. Говорили, что институты будут эвакуировать на восток. Что надо спасать архивы, оборудование, книги.

Коля ушёл в военкомат и не вернулся к вечеру. Его призывали сразу, отправили в учебную часть под Горьким.

Прощаясь, он сказал отцу:

– Ты не сердись. Я понимаю, ты по-своему прав. Но я не могу иначе.

Лебедев обнял сына. Впервые за много лет.

– Береги себя, – сказал он. – И пиши. Пиши обо всём. Даже если думаешь, что мы не поймём. Пиши.

Коля кивнул и ушёл.

3. Последний день лета

На хуторе под Харьковом Семён Петрович заканчивал копать яму в огороде. Солнце уже клонилось к закату, тени от тополей вытянулись, но пот всё равно заливал глаза. Он вытер лицо рукавом и посмотрел на дело рук: яма была глубокая, почти в человеческий рост.

– Докопался? – раздался голос с крыльца.

Жена, Марфа Ильинична, стояла с коромыслом на плече. В вёдрах плескалась вода.

– Докопал, – Семён Петрович вылез из ямы, отряхнул штаны. – Теперь засыплем – и никто не найдёт.

Речь шла о зерне. Этой весной, несмотря на все указания и планы, Семён Петрович сумел припрятать два мешка пшеницы. Знал, что рисковал – за утайку могли и срок дать. Но чутьё крестьянское подсказывало: пригодится.

Пригодилось. Война началась.

Дочь Надя выбежала из хаты, заплетая косу на бегу. Ей

было семнадцать, и в свои семнадцать она была красива той особенной, хрупкой красотой, от которой у парней захватывало дух.

– Бать, я на станцию, – крикнула она. – Ваня сегодня приезжает.

Ваня – курсант лётного училища, высокий, светловолосый, с улыбкой, от которой у Нади подкашивались ноги. Они познакомились прошлым летом на сенокосе, и с тех пор каждые выходные Ваня приезжал в их хутор.

– Приезжает, – проворчал Семён Петрович. – Приезжает он... Война идёт, а он в гости ездит.

– Так училище же здесь, под Харьковом, – Надя обиженно надула губы. – Не на фронте он пока.

– Пока, – буркнул отец. – Скоро все будут на фронте.

Надя убежала. Семён Петрович с Марфой Ильиничной засыпали яму землёй, притоптали, сверху бросили доски, на доски – старую бочку. Вроде и не копано.

– Думаешь, немцы дойдут? – тихо спросила Марфа Ильинична.

Семён Петрович не ответил. Смотрел в небо, где на западе догорал закат.

Вечером пришёл Ваня. При параде, с новенькими петлицами, пахнувший одеколоном и молодостью. Сел за стол, ел борщ, рассказывал об училище – как осваивают новые самолёты, как скоро будут выпускные экзамены.

– А потом на фронт, – сказал он просто. – Мы все знаем,

что так будет.

Надя смотрела на него влюблёнными глазами. Под столом их руки переплелись.

– Ты береги себя, – прошептала она, когда взрослые вышли во двор.

Ваня улыбнулся:

– Я буду тебя беречь. Вот кончится война – приеду, и поженимся.

Они сидели на лавке у хаты, смотрели на звёзды. Где-то далеко, за горизонтом, полыхали зарницы – или уже не зарницы, а отблески далёких взрывов.

А потом в небе что-то загудело. Звук нарастал, приближался. Ваня вскочил:

– Самолёты. Много.

Они стояли и смотрели, как на восток, прямо над их головами, летят чёрные точки. Много. Сотни. С рёвом, от которого закладывало уши.

– Немецкие, – тихо сказал Ваня. – Юнкеры. Бомбить будут.

Надя прижалась к нему. Ваня обнял её за плечи.

– Всё будет хорошо, – сказал он. – Я тебе обещаю.

Наутро он уехал в училище. Через неделю их подняли по тревоге и отправили под Киев. А ещё через месяц Надя получила первое письмо: «Любимая, я жив. Мы сбили три самолёта. Скоро увидимся».

Но они не увиделись.

#### 4. Механизм мобилизации

Свердловский областной военкомат работал круглосуточно. Очереди начинались от дверей и уходили в конец улицы, заворачивали за угол. Мужчины всех возрастов – от восемнадцати до пятидесяти – стояли, сидели на корточках, курили, молчали или говорили о войне.

Врач-психиатр Михаил Борисович Гринберг смотрел на это из окна второго этажа. Тридцать лет практики – и он никогда не видел такого массового психоза.

– Товарищ военврач, следующий, – позвала медсестра.

Гринберг вздохнул и пошёл в смотровую.

Перед ним сидел молодой парень, лет двадцати, с испуганными глазами. Дрожал.

– Что беспокоит? – спросил Гринберг.

– Я... я не могу, – парень заикался. – Я не пойду. Я боюсь.

Гринберг посмотрел в его карту. Здоров. Годен к строевой.

– Вы понимаете, что уклонение от призыва – уголовное преступление?

– Понимаю, – парень заплакал. – Но я не могу. Я видел кино про войну... Там кровь, там смерть... Я не смогу убивать.

Гринберг молчал. Он видел таких каждый день. Кто-то плакал, кто-то бился в истерике, кто-то пытался симулировать болезни. Он понимал их страх. Сам боялся. Но долг есть долг.

– Слушайте, молодой человек, – сказал он мягко. – Я поставлю вам отсрочку. По состоянию здоровья. На три месяца. Потом придёте снова.

Парень уставился на него недоверчиво:

– Правда?

– Правда. Идите.

Когда парень ушёл, медсестра сказала:

– Товарищ военврач, вы же знаете, таких нельзя отпускать. Комиссия...

– Я знаю, – Гринбер потёр переносицу. – Но если я отправлю его сейчас, он либо сбежит, либо застрелит кого-нибудь в окопе от страха. А через три месяца, может, привыкнет к мысли.

Следующий был совсем другим. Вошёл бодро, вытянулся по стойке смирно.

– Красноармеец Степанов, доброволец!

Гринберг осмотрел его. Крепкий, здоровый. Глаза горят.

– Почему добровольцем? Могли бы остаться в тылу, у вас бронь.

– Бронь, – Степанов усмехнулся. – Я тракторист. На заводе нужен. А я не могу. Там брат мой под Брестом погиб. Друзья воюют. Как я в тылу останусь?

Гринберг кивнул:

– Годен. К строевой.

Весь день шли люди. Рабочие, колхозники, инженеры, учителя. С патриотическим подъёмом и со страхом в глазах.

С верой в победу и с неверием, что вернутся.

Под вечер привели мужчину лет сорока. В хорошем костюме, при галстукe.

– Гражданин Каплан, – прочитала медсестра. – Инженер. Бронь.

– Почему не на заводе? – спросил Гринберг.

Каплан молчал. Потом тихо сказал:

– Я еврей.

Гринберг замер. Он тоже был еврей.

– И что?

– В военкомате сказали, – Каплан сглотнул, – что евреев в тылу оставлять нельзя. Что мы должны доказать...

– Кому доказать? – Гринберг повысил голос. – Вы инженер. Вы нужны здесь, на производстве.

Каплан пожал плечами:

– Я уже всё решил. Отправляйте на фронт.

Гринберг долго смотрел на него. Потом поставил штамп: «Годен к строевой».

Ночью он сидел в своём кабинете и смотрел на списки. Тысячи имён. Тысячи судеб. За каждым именем – семья, работа, мечты. И всех их отправляют туда, откуда многие не вернутся.

Он вспомнил своего сына. Тоже ушёл добровольцем. Тоже горит глазами. И тоже, наверное, не вернётся.

Гринберг закрыл лицо руками. Ему хотелось плакать. Но врачи не плачут. Психиатры тем более.

## 5. Тень сталинградского завода

Сталинградский тракторный завод имени Дзержинского не спал уже третьи сутки. Тысячи людей в промасленных спецовках сновали между станками, и никто не обращал внимания на время суток. Война отменила ночь и день, оставив только одно понятие – смена.

Инженер Алексей Иванович Кузнецов стоял у чертёжной доски и вглядывался в линии. Т-34 – машина, которая должна была стать легендой. Но пока это были просто чертежи, металл, сварные швы и вечные проблемы.

– Алексей Иваныч! – подбежал паренёк-практикант. – Там из Москвы звонили. Требуют увеличить выпуск до тридцати машин в сутки.

Кузнецов усмехнулся:

– Скажи им, пусть сами приедут и покрутят гайки. А то тридцать... Мы и двадцать еле тянем.

Паренёк убежал. Кузнецов снова уткнулся в чертежи. Главная проблема была в башне – слишком сложная сварка, долго, много брака. Надо упростить, придумать что-то новое.

– Лёша! – окликнул его мастер Федотыч, старый рабочий с прокуренными усами. – Иди-ка сюда, глянь.

Кузнецов подошёл. Федотыч показывал на готовый корпус танка.

– Смотри, тут шов неровный. Брак.

Кузнецов осмотрел. Действительно, чуть заметное откло-

нение.

– Переваривать?

– А время? – Федотыч покачал головой. – Фронт ждёт. Может, сойдёт?

Кузнецов думал секунду. Потом решил:

– Переваривать. Если такой танк подведут под удар, лопнет по шву. Экипаж погибнет.

Федотыч кивнул:

– Правильно. Я скажу ребятам.

Кузнецов вернулся к чертежам. В цеху стоял неумолчный грохот – молоты, прессы, сварка. Пахло металлом, маслом и человеческим потом.

В обед пришла жена. Анна принесла узелок с едой и села рядом на ящик.

– Ты когда домой? – спросила она. – Дети соскучились.

– Не знаю, – Кузнецов жевал хлеб с салом. – Работы много. Может, завтра.

– Ты вчера тоже говорил – завтра. И позавчера.

Кузнецов вздохнул:

– Аня, война. Понимаешь? Каждый танк на фронте нужен.

Там наши ребята гибнут, а я домой пойду спать?

Анна молчала. Потом достала из кармана конверт.

– Письмо от Коли.

Кузнецов взял конверт, повертел в руках. Сын ушёл на фронт в первый же день. Сначала писал часто, потом реже.

– Что пишет?

– Не знаю, – Анна отвела глаза. – Я не читала. Побоялась. Кузнецов вскрыл конверт. Письмо было коротким:

«Мама, папа, я жив. Воюем под Минском. Тяжело, но держимся. Немцев много, техники у них много. Но мы не сдаёмся. Папа, делай танки. Хорошие танки. Чтобы мы могли бить их. Люблю вас. Ваш Коля».

Кузнецов перечитал письмо дважды. Потом сложил и спрятал в карман.

– Жив, – сказал он жене. – Воюет.

Анна заплакала. Кузнецов обнял её за плечи.

– Всё хорошо будет. Вернётся.

Он не знал, что Коля погиб под Минском три дня назад. Что письмо это шло дольше, чем жизнь сына. Что Анна никогда больше не увидит его.

А вечером на завод пришла разнарядка: к первому августа выпустить сто танков сверх плана. Кузнецов снова уткнулся в чертежи. Искал решение, которое спасёт чьих-то сыновей.

## Глава 2. Брестская крепость

### 1. Первые залпы

Сержант Василий Рябов проснулся от грохота. Такого грохота он не слышал никогда в жизни. Казалось, весь мир рушится, проваливается в ад.

Он вскочил с койки, но пол ушёл из-под ног – взрывная волна швырнула его на стену. В казарме кричали люди, кто-

то звал на помощь, кто-то уже не кричал.

– В ружьё! – заорал Рябов, сам не понимая, что кричит. – Тревога! В ружьё!

Сквозь дым и пыль он видел бегущие фигуры. Полуоде-тые, босые, хватали винтовки, патроны. Где-то рвались сна-ряды, пулемётные очереди хлестали по стенам.

– Немцы! – закричал кто-то. – Это немцы! Война!

Рябов выбежал во двор. То, что он увидел, запомнилось на всю жизнь: крепость горела. Горели склады, казармы, ко-нюшни. В небо вздымались чёрные столбы дыма, переме-шанные с огнём. Люди падали, сражённые осколками.

– К штабу! – скомандовал Рябов. – Все к штабу!

Но штаба уже не было. Первые же снаряды накрыли зда-ние, где размещалось командование. Связь с внешним ми-ром прервалась в первые минуты.

Рябов заметался. Он был сержантом, должен был коман-довать, но кем командовать, когда кругом хаос и смерть?

– Рябов! – окликнул его лейтенант Киселёв, выскочивший из подвала. – Собирай людей. Прорываемся к кольцевым ка-зармам.

– Товарищ лейтенант, а командиры?

– Нет командиров, – Киселёв был бледен, но голос звучал твёрдо. – Все погибли. Теперь мы сами за себя. И за Родину.

Они побежали через двор, перебежками, прячась за раз-битой техникой. Немецкие пулемёты били с берега Буга, не давая поднять головы.

Рядом с Рябовым бежал молодой боец, совсем мальчишка. Пуля ударила ему в висок, и он упал, даже не вскрикнув. Рябов хотел остановиться, но лейтенант толкнул его в спину:

– Беги! Не сможешь!

Они добрались до подвалов кольцевой казармы. Здесь уже были люди – человек сорок. Красноармейцы, командиры, женщины – жёны офицеров, дети.

– Что делать? – спросил кто-то.

– Обороняться, – ответил Киселёв. – Других вариантов нет.

Рябов оглядел подвал. Сыро, темно, пахнет плесенью. В углу плакал ребёнок, женщина пыталась его успокоить. Раненые стонали, кто-то перевязывал их обрывками простыней.

– Воды нет, – сказала пожилая женщина в халате медсестры. – Патронов мало.

Киселёв посмотрел на неё:

– Будем экономить. Будем держаться.

Рябов сел у стены, прижал винтовку к груди. Руки дрожали. Он пытался унять дрожь, но не мог.

Сверху доносились взрывы, стрельба, крики. Крепость билась в агонии.

А утро только начиналось.

## 2. Подземелья крепости

Первые три дня превратились в один бесконечный кошмар. Рябов потерял счёт времени. День смешался с ночью,

атаки сменялись обстрелами, тишина – взрывами.

Они отбивались, как могли. Прорывались из одного подвала в другой, теряли людей, находили новых. Группа таяла, но не сдавалась.

На четвёртый день они оказались в подвалах у Тереспольских ворот. Здесь было темно, хоть глаз выколи. Свет давали только самодельные факелы – тряпки, пропитанные солярой.

Медсестра Вера, совсем молоденькая девушка, только что окончившая курсы, перевязывала раненых. Анестезии не было, лекарств почти не осталось. Она работала молча, стиснув зубы, когда раненые кричали от боли.

– Вера, отдохни, – сказал ей Рябов.

– Не могу, – ответила она, не поднимая головы. – Им хуже.

Рябов смотрел, как ловко её пальцы накладывают бинты, как она гладит по голове умирающего бойца, шепчет что-то ласковое. Девчонка, а держится лучше иных мужиков.

В углу подвала сидел боец по фамилии Архипов. Он нашёл кусок угля и писал что-то на стене. Рябов подошёл, прочитал:

«Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. Июнь 1941».

– Зачем это? – спросил Рябов.

Архипов обернулся. Лицо у него было спокойное, даже какое-то просветлённое.

– Чтобы знали. Чтобы помнили. Что мы здесь стояли. Что не сдались.

Рябов кивнул. Подумал: а что он сам оставит после себя? Если вообще останется что-то.

Сверху донёлся шум – немецкая речь, лязг гусениц. Все замерли.

– Идут, – прошептал кто-то.

Киселёв поднял руку:

– Тихо. Не шевелимся.

Немцы ходили по верху, стреляли в подвалы, бросали гранаты. Одна из них упала в их отсек. Рябов рванулся, схватил, швырнул обратно. Граната взорвалась снаружи, кто-то закричал по-немецки.

– Молодец, – сказал Киселёв. – Молодец, Рябов.

Но радости не было. Все понимали: это временно. Патроны кончались. Еды не было. Воду собирали по каплям со стен.

Ночью Вера подошла к Рябову. Села рядом, прижалась плечом.

– Страшно? – спросил он.

– Страшно, – ответила она тихо. – Я домой хочу. К маме.

Рябов обнял её. Она была маленькая, хрупкая, почти девочка.

– Выберемся, – сказал он, хотя сам не верил. – Обязательно выберемся.

Она не ответила. Только всхлипнула и уткнулась лицом ему в плечо.

А наверху немцы продолжали забрасывать подвалы гра-

натами. Крепость умирала, но не сдавалась.

3. Письмо, которое не дошло

В Минске, в маленькой квартирке на окраине, Анна Тимофеевна Рябова ждала вестей от сына. Каждое утро она подходила к почтовому ящику, открывала его дрожащими руками и каждый раз находила там только газеты и квитанции.

Сын ушёл в армию за год до войны. Служил в Бресте, в крепости. Писал часто – каждую неделю. Последнее письмо пришло десятого июня. Короткое, весёлое:

«Мама, у нас всё хорошо. Кормят нормально, командиры строгие, но справедливые. В следующем месяце обещают отпуск. Приеду, помогу тебе с крышей. Твой сын Вася».

Анна Тимофеевна перечитывала это письмо каждый день. Оно уже выцвело на сгибах, истрепалось по краям, но она бережно хранила его под подушкой.

Двадцать второго июня она услышала по радио о войне. Сначала не поверила. Потом побежала к соседке, у которой был телефон, звонила в военкомат, в часть, куда-то ещё. Никто ничего не знал.

А через неделю пришло первое извещение. Но не о гибели – о том, что часть, где служил сын, выбыла из расположения, местонахождение неизвестно.

«Пропал без вести» – эти слова она повторяла как молитву. Пропал – значит не убит. Значит, может быть жив.

Она продолжала писать ему письма. Каждый вечер садилась за стол, брала ручку и бумагу и писала о том, что случи-

лось за день: что соседка родила двойню, что в городе ввели карточки, что яблони в саду уродили на славу.

«Сынок, я верю, что ты жив, – писала она. – Я жду тебя. Каждый день смотрю в окно, не идёшь ли ты по улице. Я знаю, ты вернёшься. Ты не можешь не вернуться».

Письма она носила на почту. Сдавала в окошечко с надписью «Приём корреспонденции». Через неделю они возвращались – конверты с пометкой «адресат убыл» или «часть выбыла, место назначения неизвестно».

Она складывала их в шкатулку. К осени шкатулка наполнилась до краёв.

В ноябре пришёл официальный ответ на её запрос: «Ваш сын, сержант Рябов Василий Петрович, при обороне Брестской крепости пропал без вести. Дальнейшими розысками установить его судьбу не представляется возможным».

Она прочитала и положила бумагу в ту же шкатулку. А вечером снова села писать:

«Сынок, сегодня выпал первый снег. Я вспомнила, как ты в детстве любил лепить снеговиков. Помнишь, мы всегда ставили его у калитки, а ты говорил, что он охраняет дом. Я поставила маленького снеговичка на подоконник. Пусть охраняет тебя, где бы ты ни был».

Письмо ушло и вернулось через месяц.

Анна Тимофеевна прожила ещё двадцать лет. Каждое воскресенье она ходила на вокзал и встречала поезда. Вглядывалась в лица выходящих солдат. Ждала.

Она так и не узнала, что её Вася погиб в последние дни обороны крепости, засыпанный обломками стены при прямом попадании снаряда. Что его имя, выцарапанное на камне вместе с другими, нашли только в 1950-х, когда разбирали руины.

Она умерла, так и не дождавшись.

#### 4. Немецкий наблюдатель

Лейтенант вермахта Ганс Вайс сидел на бруствере окопа и записывал в дневник. Рядом курили его солдаты, лениво переговариваясь. Над Бугом поднималось солнце, обещая жаркий день.

«22 июня 1941 года, 16:00, – писал он. – Мы должны были взять крепость за три часа. Прошло уже двенадцать. Мы не взяли даже внешние укрепления».

Он отложил ручку, посмотрел на дымящиеся руины. Крепость горела, но из подвалов и развалин то и дело раздавались выстрелы. Русские не сдавались.

Утром, когда началась артподготовка, Ганс думал, что всё кончится быстро. Тысячи снарядов, внезапность, превосходство – по всем расчётам гарнизон должен был быть уничтожен в первые минуты. Но русские выжили. И стреляли.

Он вспомнил, как его рота пошла в первую атаку. Как они ворвались во двор крепости и вдруг попали под такой плотный огонь, что пришлось залечь. Как кричал раненый фельдфебель, которому осколком разорвало живот. Как молодой солдат из его отделения, всего девятнадцать лет, упал с пу-

лей в голову.

– Ганс, – окликнул его обер-ефрейтор Шульц. – Иди есть. Суп остынет.

Ганс подошёл к костру. Солдаты ели горячее, шутили, но шутки были натянутыми. Все чувствовали, что что-то пошло не так.

– Русские – звери, – сказал Шульц, жуя. – Нормальные люди должны были сдать ещё утром. А эти...

– Это их земля, – тихо сказал Ганс. – Они защищают свой дом.

Шульц посмотрел на него удивлённо:

– Ты что, сочувствуешь им?

– Я констатирую факт, – Ганс отвёл глаза. – Представь, что к нам в Германию пришли чужие. Что бы ты делал?

Шульц задумался. Потом махнул рукой:

– Не моё дело. Моё дело – воевать. Прикажут – буду стрелять.

Вечером Ганс снова писал дневник. Света от костра едва хватало, буквы расплывались.

«Я не понимаю этих людей, – писал он. – У них нет шансов. Мы перекрыли все выходы, у них кончаются боеприпасы, вода, еда. Но они продолжают сражаться. Сегодня мы взяли в плен нескольких. Среди них были женщины и дети. Дети! Что они делают в крепости? Почему их не эвакуировали? И почему, даже будучи ранеными, эти люди смотрели на нас с такой ненавистью?»

Он закрыл дневник и долго сидел, глядя на огонь. Где-то в развалинах закричала птица. Или не птица.

– Ганс, – позвал Шульц. – Иди спать. Завтра снова в атаку.

Ганс лёг на плащ-палатку, укрылся шинелью. Спать не хотелось. Он думал о том, сколько ещё таких крепостей впереди. Сколько таких дней.

И о том, что Германия начала войну, которую, кажется, не сможет закончить.

### 5. Последний рубеж

К двадцать седьмому июня в живых осталось меньше трети защитников. Они держались в подвалах у Восточного форта, отстреливаясь из последних винтовок. Патроны кончились ещё вчера. Сегодня били из трофейных – собирали у убитых немцев.

Рябов лежал у амбразуры и смотрел на немецкие позиции. Бинобль давно разбило, но и так было видно: немцы готовятся к последнему штурму. Подтягивают тяжёлые орудия, строят лестницы, тащат ящики с гранатами.

– Вася, – окликнул его Киселёв. Лейтенант был бледен, левая рука висела плетью, перевязанная грязной тряпкой. – Подойди.

Рябов подполз. В углу подвала собрались командиры – те, кто ещё мог держаться на ногах.

– Решение принято, – сказал Киселёв. – Прорываемся сегодня ночью. Всем, кто может идти. Раненые остаются здесь, прикрывают.

– Куда прорываться? – спросил кто-то.

– К своим. К востоку. Может, кто-то дойдёт.

Все молчали. Понимали: шансов нет. Но сидеть и ждать смерти было невыносимо.

– Где Вера? – спросил Рябов.

– В соседнем отсеке. С ранеными.

Рябов пошёл к ней. Вера сидела на полу, баюкая умирающего бойца. Тот был без сознания, дыхание становилось всё тише.

– Вася, – подняла она глаза. – Забери меня с собой.

– Ты же раненая.

– Я дойду. Я не могу здесь оставаться. Не могу смотреть, как они умирают.

Рябов посмотрел на неё. Лицо в саже, под глазами круги, губы потрескались. Но глаза горели.

– Хорошо, – сказал он. – Будешь рядом со мной.

Ночью, когда темень стала совсем непроглядной, они пошли. Вылезали из подвалов по одному, перебежали от укрытия к укрытию. Немцы заметили не сразу. А когда заметили, открыли ураганный огонь.

Рябов бежал, таща Веру за руку. Снаряды рвались рядом, пули свистели над головой. Кто-то упал слева, кто-то справа – Рябов не смотрел, нельзя было смотреть.

– Вася! – закричала Вера и споткнулась. Рябов подхватил её, потащил дальше.

Они добежали до стены. За ней – ров, а за рвом – лес.

Свобода.

– Прыгай! – крикнул Рябов и толкнул Веру в ров. Сам прыгнул следом.

Они упали в воду, холодную, илистую. Вера захлебнулась, закашлялась. Рябов вытащил её на берег.

Сзади, из крепости, всё ещё доносилась стрельба. Те, кто остался, прикрывали их отход.

– Пошли, – сказал Рябов. – Надо идти.

Они пошли в лес. В темноте, без оружия, без еды, без надежды. Но они шли.

А в крепости, в подвалах, на стенах, в развалинах оставались те, кто не смог уйти. И те, кто не захотел. Они продолжали стрелять до последнего патрона. А когда патроны кончились – дрались штыками, прикладами, камнями.

Последний защитник Брестской крепости, по некоторым данным, продержался до августа. Его никто не видел, но иногда, когда ветер стихал, из подвалов доносились одиночные выстрелы.

### Глава 3. Отступление

#### 1. Дорога на восток

Колонна беженцев растянулась на километры. По пыльной дороге, разбитой колёсами и гусеницами, брели люди, тащили тележки, везли детей. Кто-то вёл корову, кто-то нёс на плечах узел с самым ценным.

Семья Шульгиных – отец, мать и трое детей – шла третьи сутки. Вышли из Белостока, когда немцы уже входили в город. Успели выскочить в последний момент, схватив только документы и немного еды.

Младшему, Петеньке, было два года. Он устал, плакал, просился на руки. Отец нёс его, сменяя мать, но сил уже не было.

– Давай постоим, – сказала мать, Анна. – Отдохнём хоть немного.

Они сели у дороги. Мимо шли люди – молчаливые, с пустыми глазами. Кто-то толкал тачку с разобранный швейной машинкой, кто-то вёз на телеге старуху. Военные машины обгоняли колонну, поднимая тучи пыли.

– Немцы близко, – сказал мужик с окладистой бородой, присаживаясь рядом. – Вчера в двадцати километрах были. Сегодня, может, уже здесь.

– Что ж делать-то? – Анна заплакала. – Куда нам с детьми?

– Идти, – мужик вздохнул. – Больше некуда.

Петенька капризничал, не хотел есть. Анна пыталась накормить его размоченным в воде хлебом, но он выплёвывал.

– Мам, пить, – попросила старшая, восьмилетняя Катя.

Воды не было. Флягу выпили ещё утром.

– Сейчас, доченька, – Анна оглянулась. – Найдём.

Шедший мимо солдат остановился, достал свою флягу, протянул:

– Возьмите. У меня ещё есть.

Катя жадно припала к фляге. Солдат смотрел на них усталыми глазами.

– Вы бы шли быстрее, – сказал он. – Немцы за нами по пятам. Танки у них быстрые.

– А вы? – спросил Шульгин-старший.

– А мы их задерживаем, – солдат усмехнулся. – Сколько можем.

Он ушёл, растворился в колонне. А они пошли дальше.

К вечеру началась стрельба. Сзади, оттуда, откуда они пришли, донёсся гул канонады. Люди заволновались, ускорили шаг. Кто-то побежал.

– Давай быстрее, – Шульгин подхватил Петеньку. – Анна, бери Катю за руку.

Они почти бежали, спотыкаясь, падая, поднимаясь. Вокруг кричали люди, плакали дети. Гул приближался.

А потом началось. Немецкие самолёты вынырнули из-за леса и пошли на бреющем, строча из пулемётов по колонне. Люди падали, кричали, разбегались. Шульгин прижал к себе Петеньку, упал в кювет. Анна с Катей и младшим Мишей упали рядом.

Пули вздымали фонтанчики пыли в метре от них. Катя визжала, зажимая уши. Петенька вдруг затих – то ли от страха, то ли от усталости.

Самолёты улетели так же внезапно, как появились. На дороге остались лежать люди. Кто-то стонал, кто-то уже не стонал.

– Вставайте, – Шульгин поднялся, отряхнулся. – Надо идти.

– Петя... – вдруг сказала Анна странным голосом. – Петя, где Петя?

Шульгин посмотрел на руки. Они были пусты.

Он оглянулся. Петеньки не было.

– Я... я держал его, – забормотал он. – Я держал, когда падал...

Они бросились назад. Метались по кювету, заглядывали в лица убитых, звали.

– Петенька! Петя!

Его нигде не было. В толпе, в дыму, в суматохе двухлетний ребёнок исчез. Упал, потерялся, или кто-то подобрал, или...

Анна села прямо на землю и завывала. Страшно, не по-человечески.

– Анна, вставай, – Шульгин тянул её за руку. – Надо идти. Надо детей спасать.

Она не шла. Сидела и выла. Шульгин смотрел на неё, на Катю, на Мишу и не знал, что делать.

– Идите, – сказал кто-то из проходящих. – Сами пропадёте.

Шульгин поднял Анну силой. Поволок за собой. Она шла, спотыкаясь, ничего не видя перед собой.

Ночью они остановились в сожжённой деревне. В одной уцелевшей хате уже были люди. Шульгин внёс Анну, уложил на солому.

Она не разговаривала. Смотрела в одну точку. На вопросы не отвечала.

Катя прижалась к ней:

– Мамочка, не молчи. Мамочка, мне страшно.

Анна не ответила.

Утром они пошли дальше. Анна шла молча, держа за руки детей. Иногда останавливалась и смотрела назад. Шульгин знал: она ищет Петеньку. Она будет искать его всегда.

## 2. Приказ № 270

Командир дивизии полковник Громов сидел в блиндаже и читал бумагу, только что доставленную связным. Читал и перечитывал, не веря своим глазам.

Приказ № 270. Подписан Сталиным.

«Командиров и политработников, сдающихся в плен врагу, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту как семьи нарушивших присягу и предавших Родину».

Громов отложил бумагу. Потёр виски.

– Товарищ полковник? – спросил начштаба, майор Петров.

Громов молча протянул ему приказ. Петров прочитал, побледнел.

– Этого... этого нельзя давать солдатам, – сказал он тихо. – Они и так на пределе. А тут – семьи арестуют...

– Знаю, – Громов встал, прошёлся по блиндажу. – Спрячь. В сейф. Солдатам не показывать.

– Но Москва...

– Москва далеко, – отрезал Громов. – А у меня тут люди. Они дерутся. Они гибнут. А по этому приказу многие из них – предатели, если попадут в плен ранеными или без сознания.

Петров кивнул. Убрал приказ в сейф.

За стеной блиндажа глухо ухали разрывы. Немцы продолжали наступать. Дивизия Громова отходила с боями, теряя людей, технику, надежду.

Вечером к Громову привели лейтенанта. Молодой, бледный, с перевязанной головой.

– Товарищ полковник, – доложил конвойный. – Лейтенант Соколов. Вышел из окружения.

Громов посмотрел на лейтенанта. Тот стоял, опустив глаза.

– Рассказывай, – коротко приказал Громов.

– Дивизию разбили под Минском, – начал Соколов. – Я командовал взводом. Трое суток держались. Потом кончились патроны. Командир роты приказал прорываться поодиночке.

– Командир роты где?

– Погиб. При прорыве.

– Сколько людей вывел?

– Никого. Я один. Остальные или погибли, или...

Он замолчал.

– Или что? – жёстко спросил Громов.

– Или сдались, – выдохнул лейтенант. – Я видел. Некоторые сдавались. У них не было сил.

Громов молчал долго. Потом спросил:

– А ты почему не сдался?

Соколов поднял глаза:

– Я присягу давал. Я командир.

Громов кивнул:

– Иди в санчасть. Лечись. Потом в строй.

Когда лейтенанта увели, Петров спросил:

– Поверили?

– А ты бы хотел, чтобы я его расстрелял? – Громов устало посмотрел на начштаба. – За что? За то, что вышел? Он же не сдался. Он прорывался. Он дрался.

– А если врут?

– Если врут – значит, и правда сдавался. Тогда всё равно накажут. Рано или поздно.

Громов снова сел за стол. Достал карту, начал отмечать позиции. Дивизия отходила к Днепру.

– Петров, – сказал он, не поднимая головы. – Приказ этот забудь. Для нас его нет. У нас война. А война – это не про арестованные семьи. Это про то, как выжить и победить.

Петров кивнул.

Но приказ не забылся. Он лежал в сейфе, тяжёлый, как свинец. И каждый, кто знал о нём, чувствовал эту тяжесть.

### 3. Танковый экипаж

Старший сержант Семёнов, командир танка Т-26, вёл ма-

шину по просёлку. Пыль стояла столбом, ничего не было видно, но останавливаться нельзя. Немцы рядом.

В танке было тесно и жарко. Механик-водитель Петренко обливался потом, но гнал машину на пределе. Заряжающий Колька, совсем пацан, трясся у казённой части.

– Командир, долго ещё? – крикнул Петренко.

– До Гродно двадцать километров, – ответил Семёнов, сверяясь с картой. – Если успеем...

Он не договорил. Снаряд ударил в борт, танк трянуло, заложило уши. Семёнов ударился головой о прицел, перед глазами поплыло.

– Цел?! – крикнул он.

– Цел, – отозвался Петренко. – Но ходовая... кажется, левый ленивец сбило.

Семёнов высунулся из люка. Картина была хуже некуда: левая гусеница висела клочьями, танк накренился. А впереди, из-за пригорка, выползали немецкие танки. Три штуки.

– Принимаем бой, – скомандовал Семёнов. – Петренко, попробуй починить ходовую. Колька, заряжай!

Он припал к прицелу. Т-III, метров восемьсот. Выстрел. Снаряд ушёл в молоко, перелёт.

– Колька, быстрее!

Второй выстрел. Попадание в башню. Немецкий танк дёрнулся и застыл, из него повалил дым.

– Есть! – заорал Колька. – Есть, командир!

Но два других уже разворачивались. Снаряды застучали

по броне. Один пробил борт, прошил насквозь, убил Петренко.

– Петя! – закричал Семёнов.

Но некогда было кричать. Он поймал в прицел второй танк, выстрелил. Снова попадание. Но третий уже наводил пушку.

– Колька, выходим!

Они выскочили из танка, упали в воронку. Снаряд ударил в их машину, разнёс её в клочья. Осколки свистели над головой.

– Командир, я ранен, – сказал Колька тихо.

Семёнов посмотрел: у парня из бока хлестала кровь, зажимая рану руками.

– Держись, – Семёнов рванул индивидуальный пакет, прижал к ране. – Держись, слышишь?

Колька смотрел на него и улыбался. Странно так, по-детски.

– Я домой хочу, – прошептал он. – Мамка ждёт.

И затих.

Семёнов сидел в воронке, держал мёртвого парня и смотрел, как немецкие танки уходят дальше. Мимо проходила пехота – своя, чужая, он не разбирал.

К вечеру он нашёл наших. Прибил к отступающей роте, шёл вместе со всеми, молчал. Никто не спрашивал, откуда он. На фронте не спрашивают.

Через три дня под бомбёжкой погибли почти все, с кем он

шёл. Семёнов выжил. Опять. Его контузило, засыпало землёй, откопали санитары.

В госпитале он лежал и смотрел в потолок. Перед глазами стоял Колька с его детской улыбкой и словами «мамка ждёт».

Семёнов решил: он будет воевать. Будет мстить. За Кольку, за Петренко, за всех.

Он ещё не знал, что впереди у него – Сталинград, Курск, Берлин. И что он доживёт до Победы.

#### 4. Санитарный поезд

Санитарный поезд номер 107/42 мчался на восток, увозя раненых от линии фронта. В вагонах стоял непрерывный стон, перемежаемый криками и бредом. Пахло кровью, гноем, йодом и смертью.

Врач Елена Сергеевна работала третьи сутки без сна. Руки тряслись, но она продолжала оперировать. Ампутировала, зашивала, перевязывала. Наркоза почти не было – экономили на самый крайний случай.

– Доктор, – позвала медсестра Зина. – Тут молодой, ноги нет, бредит.

Елена подошла. Парень, лет двадцати, метался на койке. Вместо ноги – культя, кое-как перетянутая жгутом.

– Мама, – бормотал он. – Мама, не давай им... не давай...

– Тихо, тихо, – Елена положила руку ему на лоб. Горячий. Гангрена начинается.

– Надо ампутировать выше, – сказала она Зине. – Готовь инструменты.

– Доктор, он без наркоза не выдержит.

– А с наркозом умрёт от заражения. Выбирать не приходится.

Она резала, а парень кричал. Кричал так, что в соседних вагонах было слышно. Зина держала его, плакала, но держала.

Когда всё кончилось, Елена вышла в тамбур покурить. Раньше не курила, а тут начала. Нервы.

В тамбуре сидел медбрат Костя, молодой парень из Ленинграда. Сидел, смотрел в одну точку, губы шевелились.

– Кость, – окликнула Елена. – Ты как?

Он не ответил. Только повернул голову, и Елена увидела его глаза – пустые, безумные.

– Костя!

Он вдруг засмеялся. Тихо, нехорошо.

– Они кричат, – сказал он. – Всё время кричат. Я слышу их даже ночью. Даже когда никто не кричит.

– Костя, пойдём, поспи.

– Не могу, – он замотал головой. – Я закрою глаза – и вижу. Руки, ноги... Кровь... Они все хотят жить. А я не могу им помочь.

Он заплакал. Елена обняла его, прижала к себе.

– Ты помогаешь, Костя. Ты очень помогаешь. Без тебя мы бы не справились.

Он плакал, уткнувшись ей в плечо. А поезд всё мчался на восток, увозя искалеченные тела и души.

Через два дня Костя выбросился из тамбура на ходу. Его нашли у путей, мёртвого. В кармане гимнастёрки нашли записку: «Я больше не могу слышать их крики».

Елена Сергеевна прочитала и спрятала записку в карман халата. А вечером снова встала к операционному столу.

Раненые всё прибывали.

## 5. Ночь в лесу

В болотистом лесу под Смоленском пряталась группа дезертиров. Их было пятеро – солдаты из разных частей, разбежавшиеся при первом же бое. Они скрывались уже неделю, питались грибами и ягодами, боялись выходить к людям.

Старшим был Егор, здоровенный мужик лет сорока, в прошлом уголовник. Он держал остальных в страхе, отбирал еду, заставлял подчиняться.

– Скоро немцы придут, – говорил он. – Сдадимся им – и всё. Жить будем.

– А если расстреляют? – спрашивал молодой Пашка.

– Не расстреляют. Мы же не коммунисты. Мы простые.

Пашка сомневался, но спорить боялся.

Ели они раз в день, вечером. Егор распределял еду: себе побольше, остальным – по чуть-чуть. Сегодня был грибной суп, сваренный в консервной банке.

– Мало, – сказал тощий, измождённый Козлов. – Я есть хочу.

– Все хотят, – отрезал Егор.

– А ты вон какой толстый, – Козлов зло посмотрел на

него. – Значит, тебе хватает.

Егор встал. Медленно, тяжело.

– Ты что сказал?

– То и сказал. Жрёшь за всех, а мы с голоду пухнем.

Егор шагнул к нему. Козлов вскочил, отступил.

– Не подходи.

Егор подошёл. Ударил. Раз, другой. Козлов упал, закрывая голову руками.

– Хватит! – закричал Пашка. – Убьёшь же!

Егор обернулся к нему:

– Молчи, щенок. А то и тебе достанется.

Он ушёл в темноту, сел под дерево, достал краюху хлеба – свою, припрятанную. Жевал, глядя на костёр.

Ночью Козлов не спал. Лежал, смотрел в небо. Потом подполз к Пашке.

– Пашка, – прошептал он. – Надо уходить. Он нас всех порешит.

– Куда уходить? – Пашка тоже говорил шёпотом. – Кругом немцы.

– К партизанам пойдём. Или к своим перейдём. Лучше в штрафбате сдохнуть, чем здесь от его рук.

Пашка молчал, думал.

– А если поймают?

– Значит, судьба такая, – Козлов вздохнул. – Но я так больше не могу. Он же людоед, Егор этот. Чует моё сердце, доедимся мы тут.

Под утро они ушли. Крались между деревьями, замирая от каждого шороха. Шли на восток, по солнцу, как учили.

Егор проснулся и сразу понял: нет двоих. Выругался матом, разбудил остальных.

– Сбежали, суки. Ну ничего, немцы их быстро поймают.

Он ошибся. Козлов и Пашка через три дня вышли к своим. Их проверили, допросили, отправили в штрафную роту – искупать вину. Оба погибли в первом же бою, но погибли как солдаты, а не как дезертиры.

А Егор со своими людьми попал к немцам через неделю. Пошёл служить в полицию. Через год его нашли партизаны и повесили в том же лесу, где он прятался.

## Глава 4. Оккупация

### 1. Первый мэр

Городок N стоял на перекрёстке дорог, и немцы вошли в него на двадцатый день войны. Входили без боя – советские части отошли на восток, оставив жителей один на один с врагом.

На центральной площади немцы собрали митинг. Вывели на крыльцо райкома местных активистов – учителей, врачей, инженеров. Поставили перед толпой.

– Кто будет бургомистром? – спросил немецкий офицер на ломаном русском. – Кто хочет работать на новую власть? Толпа молчала. Люди отводили глаза, смотрели в землю.

– Если никто не выйдет, – продолжал офицер, – мы выберем сами. И выборы будут жёсткими.

Из толпы вышел человек. Невысокий, в очках, с портфелем. Учитель истории Пётр Ильич Соболев, пятьдесят три года, двое детей.

– Я согласен, – сказал он тихо. – Только без насилия. Чтобы люди не страдали.

Офицер усмехнулся:

– Добрый учитель. Хорошо. Ты будешь бургомистром. Завтра получишь инструкции.

Так Пётр Ильич стал главой оккупационной администрации.

Первое время он пытался смягчать приказы немцев. Когда приходила разнарядка на отправку молодёжи в Германию, он составлял списки самых никчёмных – лодырей, пьяниц, воров. Когда требовали сдавать продовольствие, он занижал данные, прятал часть продуктов по подвалам.

– Пётр Ильич, вы же рискуете, – говорила ему жена. – Узнают немцы – расстреляют.

– А если я откажусь, – отвечал он, – поставят другого. Какого-нибудь садиста, который будет людей вешать. А я хоть как-то могу защитить.

Но немцы быстро поняли, что Соболев не их человек. Приставили к нему заместителя – бывшего уголовника Караса, который выполнял все приказы беспрекословно и с удовольствием.

Карась ходил по домам, выбивал недоимки, отбирал последнее. Люди ненавидели его, но боялись.

– Вы хоть понимаете, что творите? – спросил его однажды Соболев.

– Я порядок навожу, – осклабился Карась. – При новой власти порядок нужен. А кто не согласен – тех к стенке.

Соболев понял: он стал заложником. Отказаться – посадят Карася, который будет творить что хочет. Остаться – значит участвовать в преступлениях.

Он метался, не находя выхода.

В октябре немцы приказали собрать всех евреев города на площади. Соболев пытался протестовать:

– Это же люди! Женщины, дети!

– Выполняйте приказ, господин бургомистр, – ответил офицер. – Иначе заменим вас.

Соболев пошёл по домам, стучал в двери, просил, уговаривал:

– Выходите. Вас только перепишут, проверят документы.

Ничего страшного.

Люди выходили. Верили ему. Он же учитель, он же свой.

Через три дня их расстреляли за городом. Две тысячи человек.

Соболев узнал об этом ночью. Сидел на кухне, пил водку, плакал.

– Я убийца, – говорил он жене. – Я отправил их на смерть.

– Ты не знал, – утешала она.

– Должен был знать. Должен был предвидеть. Немцы не прощают никого. А я повёл их, как овец на бойню.

Он пытался покончить с собой – не вышло. Жена отобрала верёвку.

Дальше было хуже. Карась расстреливал каждого, на кого укажет. Соболев подписывал приказы, потому что знал: не подпишет – Карась сделает то же самое, но ещё и надругается над телами.

Когда в город вошла Красная армия, Соболева арестовали. На суде он не оправдывался, не просил пощады.

– Я виновен, – сказал он. – Я думал, что смогу спасти хоть кого-то. А в итоге стал палачом. Приговариваю себя к высшей мере.

Его расстреляли в сорок четвёртом.

Карась сбежал с немцами. После войны его нашли в Аргентине, выкрали, судили и повесили в том же городе, на той же площади, где когда-то стоял Соболев.

## 2. Полицейский участок

В полицейский участок Семён Карась пришёл добровольно. После того как немцы повесили троих коммунистов на площади, он понял: время пришло.

– Работать хочешь? – спросил немецкий офицер, перебирая бумаги.

– Хочу, господин офицер. Порядок наводить.

– Русский, а служить немцам будешь? Предателем станешь?

– Почему предателем? – Карась обиделся. – Я власть уважаю. Какая власть – такую и уважаю. А эти, коммунисты, мне всю жизнь кровь пили. Я при них три срока отсидел.

– За что?

– А за что тогда сажали? – Карась усмехнулся. – За правду.

Офицер посмотрел на него долгим взглядом. Потом кивнул:

– Иди к начальнику полиции. Получишь форму и оружие.

Форма была старой, польской, с нашитой бело-красной повязкой. Оружие – немецкий карабин, укороченный. Карась надел, примерился, остался доволен.

В тот же день он пошёл по домам – «реквизировать излишки». У старухи Марковны забрал последнюю курицу. Та заплакала, упала на колени:

– Сыночек, не забирай, дети голодные.

Карась пнул её:

– Молчи, старая. При новой власти все равны. А курица – для немецких солдат. Они нас защищают.

Старуха замолчала. Смотрела на него с такой ненавистью, что Карась на мгновение смутился. Но потом плюнул и пошёл дальше.

Сын его, Павел, семнадцати лет, смотрел на отца с ужасом.

– Батя, ты что творишь? Ты же людей грабишь.

– Я порядок навожу, – Карась нахмурился. – А ты не лезь, мал ещё.

Павел молчал. А через неделю к ним пришли.

– Павел Карась? – спросил немецкий офицер, войдя в дом.

– Я, – Павел побледнел.

– Пойдёшь с нами. В полицию требуются молодые люди.

– Он не пойдёт, – вступился Карась-старший. – Он ещё ребёнок.

– Ребёнок? – офицер усмехнулся. – В семнадцать лет – уже мужчина. Военкомат бы его призвал, если бы не мы. Так что иди, парень. Родине служить.

Павел пошёл. Не потому что хотел, а потому что боялся.

В полиции его поставили на охрану складов. Работа скучная, но безопасная. Павел стоял с винтовкой и думал о том, как из всего этого выбраться.

Однажды ночью к складам подошли люди. Павел окликнул:

– Стой! Кто идёт?

– Свои, – ответил голос из темноты. – Партизаны.

Павел замер. Сердце заколотилось.

– Что вам надо?

– Склад поджечь. Ты не мешай, парень. Мы не тронем.

Павел думал секунду. Потом опустил винтовку:

– Делайте что хотите. Я ничего не видел.

Склад загорелся красиво, высоко. Немцы бегали, кричали, стреляли в темноту. Павла арестовали, допрашивали, били.

– Ты их пропустил, сволочь!

– Я никого не видел, – твердил Павел. – Стоял на посту, никого не было. А потом взрыв, и всё.

Ему не поверили, но доказательств не было. Отправили на работу в Германию, в лагерь.

Там он и встретил Победу. Вернулся домой в сорок пятом, седым в двадцать лет.

Карась-старший ушёл с немцами. Где он – Павел не знал и знать не хотел.

### 3. Гетто

Семья Розенбаумов жила в городе N уже три поколения. Дед приехал ещё при царе, открыл сапожную мастерскую, женился, пустил корни. Теперь у них был дом, мастерская, трое детей.

Война всё перечеркнула.

В первый же месяц немцы приказали всем евреям носить нашивки – жёлтые звезды на груди и спине. Старший Розенбаум, Исаак, долго не мог смириться:

– Я русский, – говорил он. – Я здесь родился. Я за эту страну в Гражданскую воевал.

Но немцам было всё равно.

В октябре пришёл приказ: всем евреям переселиться в гетто. Район за колючей проволокой, старые дома без удобств, по десять семей в одной квартире.

Исаак собрал вещи, взял жену, детей и пошёл. Не потому что хотел – потому что прикладами погнали.

В гетто было тесно, грязно, голодно. Рацион – двести граммов хлеба в день и баланда из брюквы. Люди умирали от голода и болезней каждый день.

Дочь Розенбаумов, Сара, училась на медицинском до войны. В гетто она стала главным врачом – единственным, кто имел хоть какое-то образование. Работала сутками, лечила, чем могла. Лекарств не было – использовала травы, уголь, молитвы.

– Сара, иди отдохни, – говорила мать.

– Не могу, мама. Там дети болеют. Там старики умирают. Кто, кроме меня?

Она ходила по баракам, перевязывала, утешала. Люди её любили, называли ангелом.

В сорок втором немцы решили ликвидировать гетто. Сару предупредили – кто-то из знакомых полицейских, рискуя жизнью.

– Беги, – сказали ей. – Прячься. Завтра всех расстреляют.

Сара посмотрела на родителей, на младших братьев. Покачала головой:

– Я не могу их бросить.

– Тогда погибнешь вместе с ними.

– Значит, такова судьба.

Утром всех вывели на площадь. Строили колоннами, погнали за город. Сара шла с родителями, держала за руки братьев.

У рва приказали раздеваться. Мать закрывала лицо руками,

стыдно было. Отец смотрел прямо перед собой, не мигая.

Автоматные очереди били долго. Тела падали в ров, сверху сыпалась земля.

Сара выжила. Пуля прошла навывлет, не задела жизненно важных органов. Ночью она выползла из-под трупов, добралась до леса.

Её нашли партизаны. Выходили, вылечили. Сара стала партизанским врачом, спасла десятки жизней.

После войны она вернулась в родной город. На месте гетто был пустырь. На месте расстрела – лесопосадка.

Она поставила самодельный памятник и уехала навсегда.

#### 4. Разделённая любовь

Таня работала на железной дороге, стрелочницей. Немцы, занявшие станцию, сначала не обращали на неё внимания – мало ли русских девок в телогрейках.

Потом появился он. Обер-ефрейтор Фриц Мюллер, связист, пришёл чинить проводку возле её будки. Увидел, остановился, смотрел долго.

– Добрый день, – сказал по-русски, с акцентом.

Таня промолчала. Отвернулась.

– Я не кусаюсь, – улыбнулся он. – Просто проводка. Можно пройти?

Она кивнула. Он прошёл, покопался в проводах, ушёл.

Через день пришёл снова. Принёс плитку шоколада, положил на подоконник.

– Это вам. За то, что разрешили работать.

Таня хотела отказаться, но рука сама потянулась. Шоколад... Она забыла, когда ела шоколад в последний раз.

– Спасибо, – прошептала.

Так началось.

Фриц приходил каждый день. Приносил еду, сигареты для отца, тёплые вещи. Таня сначала стеснялась, потом привыкла. Разговаривали. Он рассказывал о Германии, о своей деревне под Мюнхеном, о матери и сестре. Она слушала и не верила, что перед ней – враг.

– Ты не такой, как другие, – сказала она однажды.

– Я такой же, – ответил он. – Просто я не хочу воевать. Я хочу домой. Хочу, чтобы всё это кончилось.

Они встречались тайно, по ночам. Таня знала, что рискует – за связь с немцем могли расстрелять свои и свои, и чужие. Но остановиться не могла.

В декабре их поймали. Полицай, выследивший Татьяну, доложил немцам.

Фрица арестовали свои же. Судили за «расовое преступление», отправили на Восточный фронт, в штрафную роту. Он погиб под Орлом через месяц.

Таню пытали в гестапо. Допрашивали, избивали, требовали назвать имена других, кто сотрудничает с немцами. Она молчала. Не потому что героиня – просто не знала ничего.

Её отправили в концлагерь, в Германию. Там она и встретила Победу – худая, седая, в полосатой робе.

Вернулась домой в сорок пятом. В родном городе её

встретили как предательницу. Соседи плевали вслед, дети кидали камни.

– Немецкая подстилка, – кричали.

Таня не оправдывалась. Молчала. Уехала в другой город, устроилась на завод, работала до пенсии.

Никогда никому не рассказывала о Фрице. Только в старости, внучке, прошептала:

– Я его любила. Он был хороший. Просто война...

## 5. Пепелище

Деревня Малые Сосны стояла на опушке леса. Жителей – двести тридцать семь человек, в основном старики, женщины, дети. Мужики ушли на фронт в первый же месяц.

Немцы пришли в сентябре. Вошли тихо, без стрельбы, расквартировались по хатам. Комендант, пожилой унтер-офицер, объявил:

– Жить будете тихо, работать будете хорошо. Кто будет партизанам помогать – расстрел.

Старостой назначили деда Матвея, семидесяти лет. Тот крихтел, отказывался, но пришлось согласиться.

Месяц было тихо. Немцы брали продукты, но не зверствовали. Солдаты играли с детьми, давали конфеты. Бабы вздыхали: может, и не такие звери, как говорят.

В октябре в деревню пришли партизаны. Ночью, тихо, разбудили старосту:

– Дед, нам продукты нужны. Собери что можешь.

Дед Матвей замялся:

– Ребята, немцы ж узнают. Расстреляют же нас.

– А если мы без еды пропадём, кто немцев бить будет? – партизан говорил зло. – Собирай, дед. Это приказ.

Дед собрал. По хатам пошёл, объяснял бабам: для своих же, для наших. Бабы давали кто хлеб, кто сало, кто картошку.

Партизаны ушли. А через три дня пришли немцы.

– Где партизаны? – спросил комендант, собрав всех на площади.

Молчали.

– Кто давал им еду?

Молчали.

Комендант кивнул солдатам. Те пошли по домам, вытаскивали людей, ставили в ряд.

– Последний раз спрашиваю: кто?

Молчание.

– Расстрелять каждого десятого, – приказал комендант.

Отсчитали: раз, два, три... Десятый – молоденькая девушка, шестнадцати лет. Поставили к стене.

– Стойте! – закричал дед Матвей. – Я давал! Я староста! Я приказывал!

Немцы посмотрели на него. Комендант усмехнулся:

– Староста. Молодец. Повесить.

Деда Матвея повесили тут же, на площади. Девушку отпустили.

А наутро деревню сожгли.

Солдаты ходили по хатам, обливали бензином, поджигали. Людей выгоняли на улицу, стреляли из автоматов. Кто пытался бежать – догоняли и добивали.

Из двухсот тридцати семи человек спаслись двенадцать. Те, кто успел спрятаться в погребах, в лесу, в стогах.

Они выходили из укрытий, когда немцы ушли. Смотрели на пепелище, на трупы, на дымящиеся головешки. И молчали.

Потом бабы завывали. Страшно, навзрыд.

Мужик один, пожилой, сел на землю и заплакал. Плакал и повторял:

– Я им говорил, не надо с партизанами... Я говорил...

Выжившие ушли в лес. Прибились к партизанам, воевали, мстили. Тот мужик, что плакал, ушёл в разведку и подорвал себя гранатой вместе с немецким штабом.

А на месте деревни осталось пепелище. До сих пор стоит обелиск: «Здесь была деревня Малые Сосны. Сожжена фашистами 15 октября 1941 года. 237 жителей погибли».

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.